

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРОГНОЗ

ПОРЯДОК

СТАБИЛЬНОСТЬ

БАЛАНС

МАТЬ ПОРЯДКА

ДМИТРИЙ УСАЧЁВ

Дмитрий Усачёв

Часть первая. "Мать порядка"

«Автор»

2026

Усачёв Д.

Часть первая. "Мать порядка" / Д. Усачёв — «Автор», 2026

Что бы вы отдали, чтобы никогда больше не терять тех, кого любите? Не годы жизни. Не деньги. То единственное, что делает потерю выносимой, — право хоть кого-то в ней обвинить: судьбу, случай, себя. Всё началось с одной фразы, которую Рут Эйсен произнесла ещё ребёнком, стоя над телом матери: виноват тот, кто не считал. Она пострела мир, где виноватых больше нет.

© Усачёв Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Дмитрий Усачёв

Часть первая. "Мать порядка"

Глава 1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЬ ПОРЯДКА

Глава первая. Эпоха Шума

Потом, много лет спустя, когда об этом времени станут писать в школьных модулях, его назовут коротко и почти нежно — Эпоха Шума. Название времени придумают историки, которые сами в нём не жили, но оно приживётся, потому что было точным.

Шум действительно был везде.

Он стоял в воздухе городов, где вентиляционные шахты гудели круглосуточно, потому что открывать окна летом стало смертельно опасно, и в головах людей, приученных к тому, что каждое утро начинается с новой катастрофы, и потому переставших различать катастрофы между собой. Наводнение, унёсшее жизни одиннадцати тысяч человек, шло в сводке третьим номером — после биржевого индекса и скандала с фальсификацией вакцины. Через неделю о нём не помнил никто, кроме тех, кто там жил.

Боль перестала быть событием. Она стала фоном — как гул старого холодильника в пустой кухне, которого не замечаешь ровно до той секунды, пока он не смолкнет.

Ледники сошли на нет за одно поколение, экваториальный пояс выгорел, восемьдесят миллионов человек находились в постоянном перемещении, и их называли климатическими мигрантами, потому что это словосочетание позволяло не говорить «беженцы», а значит, не вспоминать, откуда и куда они бегут.

Государства ещё существовали: издавали законы, печатали деньги, проводили выборы. Но всякий, кто хоть раз видел изнутри, как принимаются решения, знал — настоящей власти нет ни у кого. Есть только реакция. Пожар тушим. Бунт гасим. Эпидемию останавливаем.

Потом, когда всё уже случалось, искали виноватых, и виноватые говорили одно и то же. Начальник смены говорил, что заявка ушла в срок. Снабженец — что топливо выбирал не он, а конкурс. Цена укладывалась в лимит, лимит спускали сверху, а наверху сидел живой немолодой человек и объяснял, что бюджет секвестировали ещё в марте и он тут ни при чём.

У каждого была своя правда, и каждая была настоящей.

«У меня не было выбора» — вот что эта эпоха говорила вслух, всеми своими миллиардами глоток, каждый день, по любому поводу. Опят объясняем.

Рут Эйсен родилась в тридцать восьмом году этого столетия, в промышленном поясе Северо-Восточного округа.

Она помнила его хорошо. Помнила серую взвесь в воздухе, оседавшую к вечеру на подоконниках тонким жирным слоем, — мать вытирала его каждый день и каждый день заново. Помнила, что снег был не белый, а сизый, и что в детстве она искренне считала, будто белый снег — выдумка книжек, вроде драконов. Помнила запах: смесь горячего металла, дизеля и чего-то сладковатого, приходящего со стороны химического комбината в те дни, когда ветер шёл с юга.

И помнила звук.

Это надо объяснить отдельно, потому что без этого в ней ничего не понять.

Их дом стоял в двухстах метрах от компрессорной станции. Компрессорная работала непрерывно — низкий, толстый гул на грани слышимости, проходивший не через уши, а через кости, через пол, через воду в стакане. К нему добавлялись вентиляция, трансформатор во

дворе, товарные составы каждые сорок минут, вечно включённая панель у соседей за стеной и голоса, голоса, голоса, потому что в квартирах жили плотно и стены были из чего попало.

Все привыкали. Рут не привыкла.

Шум для неё не сливался в фон, он всегда оставался набором отдельных источников, и каждый требовал внимания. Она засыпала, зажав уши ладонями, и просыпалась ночью от того, что руки упали.

В четыре года она нашла способ. Способ был такой: считать. Если считать — гул перестаёт быть гулом и становится числом. Составы: одиннадцать в дневную смену, семь в ночную. Вторым двором до магазина на девять шагов дальше, зато мимо трансформатора, а трансформатор она любила — он гудел ровно, на одной ноте, и перекрывал остальные.

Посчитанное переставало шуметь.

Отца звали Март Эйсен. Он работал старшим инженером контура безопасности на атомной станции «Ардея-7» — одной из четырёх тысяч станций, которыми тогдашний мир затыкал собственную ненасытность.

У него были тяжёлые руки с намертво въевшейся в складки кожи машинной смазкой; сколько он их ни мыл, серые полосы оставались, и маленькая Рут думала, что это такой рисунок, который бывает у взрослых мужчин. Он приходил с суток, садился на табурет в прихожей и долго, молча снимал ботинки, а потом клал эту тяжёлую руку ей на голову, и от руки пахло железом.

Он был неразговорчив и точен.

Однажды — ей было пять — он взял её с собой в мастерскую при станции, в выходной, когда там никого не было.

Первое, что её ударило, была тишина: метровые стены, выключенное всё, ни компрессорной, ни составов, ни соседей. Только где-то за стеной капало — редко, и от каждой капли шло короткое эхо.

Рут стояла посреди мастерской и слушала.

Пахло металлом, машинным маслом. Верстак был длиной шагов в пять, из тёмного дерева, весь в круглых выжженных пятнах. На стене висели ключи — сорок или пятьдесят, от крошечных до полуметровых, и все на своих местах, каждый на своём гвозде, обведённом краской по контуру.

Отец разложил на верстаке разобранный клапан и стал показывать, как он работает.

— Смотри. Вот эта штука, она просто пропускает или не пропускает. Она даже не знает, что там за ней.

— А кто знает?

— Человек, — сказал отец. — В том-то и дело. Каждая железка знает только своё. Поэтому нужен человек.

— Зачем?

Он подумал.

— Чтобы он знал и решал, — сказал он наконец. — Железка отвечает за себя. Человек — за результат.

У отца были горячие руки. Она помнила это лучше, чем лицо: тепло ладоней и запах железа.

Рут запомнила его слова так, как запоминают дети: намертво и не тем боком. Из всего сказанного ей врезалось «чтобы знал и решал». Про «отвечает» она услышала только через шестьдесят восемь лет, в белой комнате, где пахло озоном, — и то не сама.

Ей было шесть, когда на «Арде-7» пошёл вразнос третий блок.

Причина, как потом установила комиссия, была смехотворной. Датчик давления в контуре охлаждения давал завышенные показания в течение четырёх месяцев. Об этом знали. Была подана заявка. Заявка стояла в очереди на плановое обслуживание, потому что отклю-

нение считалось несущественным — в пределах допуска. В ночь, когда совпало три вещи — гроза, отключение внешнего питания и работа резервного генератора на топливе, которое закупили дешевле по тендеру, — «несущественное отклонение» стало решающим.

Автоматика отказала. У неё было три секунды, и она их проиграла.

Дальше начинается то, что Рут будет пересчитывать всю жизнь.

Аварийные клапаны третьего блока стояли не в щитовой. Они стояли в насосном зале, за гермодверью, и закрывались вручную — сорок один маховик, по семь оборотов каждый.

Гермодверь при падении давления в контуре запиралась автоматически. Не по чьей-то злой воле, а по единственно разумной логике: чтобы то, что вырвется в зал, не пошло дальше по коридорам. Дверь пускала внутрь и не выпускала обратно — до конца цикла. Конец цикла наступал через сорок минут.

Человек в насосном зале имел сорок минут на работу, рассчитанную на пятнадцать, и не имел выхода.

Это знали все, кто там работал. Это знал и Март Эйсен, который двадцать лет ходил мимо этой двери на смену и обратно.

По инструкции при отказе контура персонал обязан был покинуть блок. Инструкция была написана правильно: сделать всё равно ничего нельзя, а погибнуть можно.

В щитовой в ту ночь находились четверо. Трое вышли — и были правы, и никого из них потом ни в чём не обвинили, и ни один не смог до конца жизни объяснить своим детям, почему они вышли, хотя объяснять было нечего.

Март Эйсен снял с крюка фонарь и открыл гермодверь.

Дальше нет никаких свидетельств, кроме показаний расходомеров, и по ним восстанавливается только одно: он шёл по залу слева направо и закрывал клапаны по порядку. Первый — в 23:41. Пятнадцатый — через шесть минут. Двадцать второй — ещё через четыре, и здесь темп сбивается, потому что к этому времени в зале уже было под сто градусов.

Он закрыл двадцать шесть клапанов из сорока одного.

Этого хватило. Активная зона села на сорок процентов и не взяла остальное. Город на восемьсот тысяч человек не стал мёртвой зоной; мёртвой зоной стал только периметр станции.

Последний расходомер отметил движение в 23:59.

Тело отца не нашли. Хоронить было нечего. Был митинг у заводоуправления, где чиновник в хорошем пальто говорил про мужество, и была урна с горстью земли, взятой у границы оцепления, потому что мать настояла: должно быть место, куда ходить. В акте написали: «предположительно, испарение вследствие термического воздействия». Рут прочитала эту строчку впервые в четырнадцать лет, когда мать наконец отдала ей папку, и запомнила навсегда — не смысл, а именно интонацию. Так пишут о протечке в трубе.

Рут стояла у этой урны, шести лет от роду, в колючих чёрных колготках, и думала об одном: если бы кто-нибудь починил датчик, папа сейчас сидел бы в прихожей и снимал ботинки.

Это была первая мысль в её жизни, которую можно назвать научной.

А вторую она додумает через двадцать четыре года и никому не скажет.

Это случится уже во времена «Тессеры», когда модель научится восстанавливать прошлое так же уверенно, как предсказывать будущее. Рут поднимет архивы «Ардеи-7» — все, до последнего журнала смен, до накладных на топливо, — загрузит и попросит рассчитать ту ночь.

Модель отработает за девять секунд. Она даст аварию с вероятностью девяносто девять и три. Она укажет датчик. Она укажет топливо. Она восстановит грозу.

А в блоке поведения персонала выдаст: вероятность выхода из щитовой в соответствии с регламентом — девяносто шесть процентов.

То есть по всем данным, какие существуют о Марте Эйсене — по возрасту, стажу, психологическому профилю, семейному положению, наличию шестилетней дочери, — он должен

был выйти. Как вышли трое. Девяносто шесть человек из ста на его месте вышли бы, и все девяносто шесть были бы правы.

Он остался.

Рут будет сидеть перед экраном очень долго. Потом сотрёт задачу и не расскажет об этом никому.

Потому что модель не ошиблась. Модель посчитала верно: таких, как он, четверо на сотню. Восемьсот тысяч человек живут сегодня потому, что в ту ночь на смене оказался один из этих четверых, — а могло оказаться, что не оказался.

И всю жизнь Рут Эйсен будет строить мир, в котором такая ночь невозможна: где датчик чинят вовремя, где топливо не экономят, где ни одному человеку не придётся идти в насосный зал с фонарём.

Она никогда не додумает эту мысль до второй половины.

Потому что мир, в котором невозможна такая ночь, — это мир, в котором невозможен и такой человек. В нём нет ни зала, ни фонаря, ни двери, которая пускает внутрь и не выпускает. В нём исправный датчик и правильная инструкция, и они справляются лучше.

Мать звали Эльза.

После гибели мужа она пошла работать в городской распределительный центр продовольствия — не потому, что хотела, а потому, что там кормили и там платили.

К тому времени еда окончательно перестала быть товаром и стала инструментом власти. Хлеб развозили по секторам под охраной. В любом городе можно было с точностью до квартала показать на карте, где заканчивается зона гарантированного снабжения и начинается зона, которую в отчётах называли «зоной адаптивного распределения», а на улице — просто «серой».

Эльза Эйсен была невысокой, жилистой, с прямой спиной. Она никогда не жаловалась. Она приносила домой то, что полагалось по норме, и ни граммом больше, хотя работала на складе, где эти граммы лежали штабелями.

Рут однажды спросила почему. Ей было девять, она была голодная и злая, и вопрос был не риторический.

— Потому что если начну, — сказала мать, не поднимая головы от штопки, — то не остановлюсь. И тогда придёт кто-то другой и тоже не остановится. И тогда там, в конце очереди, кому-то не хватит.

— Тебя же никто не видит.

Мать подняла голову.

— При чём тут это, — сказала она.

Рут это запомнила — и, как всегда, поняла наоборот. Она решила, что мать рассуждает системно: одно нарушение порождает цепочку, цепочка рушит распределение, распределение — это жизни. Она даже гордилась потом, что первый системный аналитик в её жизни штопал носки и не знал слова «модель».

Только это было не системное мышление.

Мать не считала последствий. Мать держала правило, которое сама себе назначила, — в пустой комнате, без свидетелей, при живом голодном ребёнке.

Рут этого не увидела ни тогда, ни потом.

В тот же год Рут спросила, откуда у неё имя.

— Из книги, — сказала мать. — Была такая женщина. Чужая, из другого народа. У неё умер муж, и она осталась одна со свекровью, старухой, которая ей вообще никем не приходилась. И старуха её отпускала: иди, говорит, домой, к своим, у тебя вся жизнь впереди. А та не пошла.

— Почему?

— Сказала: куда ты пойдёшь, туда и я. — Мать пожала плечами. — Вот и всё.

— И что она с этого получила?

Мать посмотрела на неё долгим взглядом, каким смотрят, когда впервые понимают про собственного ребёнка что-то не очень хорошее.

— Ничего, Рут, — сказала она. — В том и дело.

Голодный бунт случился в мае, когда Рут было двенадцать.

Его называли спонтанным. Все такие бунты называли спонтанными. Рут, много позже подняв архивы, восстановит картину до часа: за девять дней до этого в двух соседних округах остановили комбинат по производству белкового концентрата; за шесть дней в сети пошли ролики о том, что на складах всё есть, просто не раздают; за трое суток в город вошли две группы, которые нигде не значились и которых никто не искал.

Спонтанность — это когда не считали.

Толпа шла по Северной хорде, и в ней не было злых лиц. Рут потом часто об этом думала: она стояла на балконе третьего этажа и видела сверху обычные лица, испуганные и решительные, лица людей, которые второй месяц кормят детей разведённым порошком. Она помнила и звук — сплошной, ровный, без отдельных голосов, потому что на таком расстоянии толпа звучит как вода.

Склад распределительного центра они вскрыли за одиннадцать минут.

Эльза Эйсен была в тот день дежурной по третьему сектору хранения. Там держали последнюю партию детского питания — сто шестьдесят коробок, которые должны были уйти в родильный дом и в два интерната.

Она не спряталась. Она встала в проёме, раскинув руки, и сказала первому вошедшему что-то — что именно, не узнал никто, потому что все, кто был рядом, потом говорили разное.

Её не убивали. Её просто не заметили. Восемь или девять человек прошли через проём одновременно, кто-то толкнул, кто-то споткнулся, и дальше сработала физика: в узком проёме толпа перестаёт быть людьми и становится давлением.

Опознание проводили в спортивном зале школы номер четыре, потому что морг не вмещал. Тел было сорок с чем-то — и погромщики, и охрана, и просто попавшие под руку. Их положили на маты, ровным рядом, вдоль разметки баскетбольной площадки. Пахло хлоркой и почему-то мокрым деревом.

Двенадцатилетняя девочка шла вдоль ряда, и рядом шла женщина из социальной службы и говорила: «Ты не смотри, ты только скажи где, я сама». Рут смотрела в каждое лицо. Она не смогла бы объяснить зачем. Позже она объяснит — так: пока смотришь, это люди. Как только перестаёшь, это сорок с чем-то.

Она нашла мать восьмой слева. И вот тут в ней что-то встало на место — не сломалось, а именно встало, с щелчком, как встаёт правильно подобранная деталь.

Она не заплакала. Она стояла и слушала.

В зале было очень тихо. Гудели лампы под потолком — две из них с дребезжанием, на разной частоте. Где-то капало. За стеной, в коридоре, кто-то говорил по телефону, монотонно и деловито, повторяя одно и то же в четвёртый раз. Снаружи, на улице, работал двигатель.

Тот же самый шум. Ровно тот же самый, что всю её жизнь, что вчера, что позавчера, — не изменившийся ни на ноту от того, что на матах лежат сорок человек и восьмая слева — её мать.

Мир не заметил. Мир вообще ничего не заметил.

И двенадцатилетняя Рут Эйсен, стоя над телом матери в спортивном зале, впервые сформулировала то, что будет двигать ею шестьдесят лет, — не как мысль, а как физическое желание, почти как жажду:

пусть всё замолчит.

Пусть кто-нибудь наконец посчитает всё до конца, и тогда оно замолчит.

Ответ на вопрос, посчитает ли кто-нибудь, она получила через одиннадцать месяцев, на заседании комиссии по расследованию майских событий, куда её взяла с собой тётка — как несовершеннолетнюю потерпевшую, для приличия.

Зал был с плохой акустикой, и оттого всё звучало глухо, будто из-под воды. Комиссия заседала четвёртый месяц. Люди в костюмах по очереди объясняли, что предвидеть произошедшее было невозможно.

Что сложилось слишком многое: остановка комбината (экономические причины); информационная кампания (установить источник не удалось); недостаточность сил охраны (кадровый дефицит); конструктивные особенности складского помещения (проект 1980-х годов). Каждое звено в отдельности — ничтожно. Пыль. Шум. Статистическая погрешность.

— Совокупность обстоятельств носит характер форс-мажора, — сказал председатель, молодой человек с усталым и, в общем, добрым лицом. — Никто не виноват.

Он сказал это с усталой добротой. Он не лгал и не выкручивался; он искренне полагал, что приносит утешение.

Рут встала.

Ей было тринадцать. Она была маленькая, в форменном школьном свитере, и её никто не собирался слушать. Тётка дёрнула её за рукав.

— Виноват тот, кто не считал, — сказала Рут.

В зале было тихо ровно столько, сколько нужно, чтобы понять: девочку жалко. Потом председатель мягко кивнул, поблагодарил и объявил перерыв.

Она вышла на улицу. Шёл дождь, серый и тёплый, и на асфальте у входа стояла радужная плёнка от солянки.

Позже, вспоминая этот день, Рут всегда будет считать, что тогда она возразила комиссии. На самом деле она с ней согласилась — просто не заметила этого.

Она стояла и смотрела на радужную плёнку в луже, и в голове у неё было пусто и ясно, и гудел трансформатор через дорогу, ровно, на одной ноте, перекрывая всё остальное.

Решение было простое.

Она будет считать.

Через сорок лет её спросят на камеру — молодой журналист, доброжелательный и неглубокий, — чего она на самом деле хотела, когда всё это начинала. Он будет ждать про спасённые жизни, про снижение смертности, про долг перед человечеством; у него уже написан следующий вопрос.

Рут Эйсен ответит не сразу.

— Тишины, — скажет она.

Журналист засмеётся, решив, что это шутка усталого человека, и перейдёт к следующему вопросу.

Она получит своё. Через сорок с лишним лет в жилых секторах Порядка будет так тихо, что придётся вводить регламентный фоновый звук — иначе у людей нарушался сон.

Глава вторая. Наука о пыли

Есть люди, которые в двадцать лет знают о себе всё. Рут Эйсен была из них.

В пятнадцать она поступила в Высшую школу прикладной математики Северного узла — заведение, доживавшее последние годы на остатках государственного финансирования. Отопление работало по графику, и зимой студенты сидели на лекциях в куртках, дыша паром. По ночам за рекой иногда работала артиллерия — «локальный конфликт за водные ресурсы», третья фаза, — и стёкла в общежитии тихонько звенели в рамах, и все привыкли настолько, что под этот звон засыпали.

Она занималась вещами настолько скучными, что на её семинары никто не ходил.

Теория связанных отказов. Дисциплина о том, почему падают не системы, а связи между ними. Почему энергосеть на четырёх независимых контурах гаснет целиком. Почему одиннадцать банков, не имеющих друг к другу отношения, разоряются в одну среду.

Её однокурсники строили модели красивых катастроф — землетрясений, обвалов, эпидемий. Рут занималась мелочью. Она собирала мусор: расписания автобусов, сводки о влажности, отчёты о закупках дизтоплива, статистику разводов, объёмы продаж дешёвого алкоголя, данные о том, на сколько минут в среднем задерживается смена в третьем депо. Всё это в отдельности не значило ничего.

— Вы понимаете, что вы делаете? — спросил её на втором курсе профессор Кирвен Кайс, старик с трясущимися руками, читавший вероятностные процессы. — Вы ищете корреляции между несопоставимыми рядами. Это ошибка первокурсника. Так можно доказать, что рождаемость зависит от количества аистов.

— Я не ищу корреляции, — сказала Рут. — Я ищу совпадения по времени. Аисты и рождаемость не связаны причинно, но они связаны через весну. Меня интересует весна.

Кайс помолчал.

— Как вы её назовёте? — спросил он наконец. — Эту вашу весну.

— Пока никак. Это то, чего никто не видит, потому что оно слишком мелкое и лежит между дисциплинами.

Кайс стал первым, кто дал ей вычислительное время. Он выбивал его по ночам, в обход расписания, у знакомого администратора университетского кластера — двенадцать стоек в подвале, гревших помещение так, что зимой там сидели в футболках. Это был лучший год её жизни, и она об этом не догадывалась.

Первый настоящий результат Рут получила в девятнадцать.

Она предсказала вспышку кишечной инфекции в Одиннадцатом округе за пять недель до первых зарегистрированных случаев. Не по медицинским данным — медицинских данных не было вообще. Она сложила три вещи: график сброса технической воды одного комбината, изменение маршрута двух водовозов и статистику продаж бутилированной воды, которая в одном квартале почему-то просела на девять процентов.

Просела, потому что людям стало не на что покупать. Потому что закрылся цех. Потому что комбинат сокращал издержки. И потому же он сбрасывал воду не туда.

Она написала в санитарную службу. Через восемь дней пришёл ответ формой: обращение принято к сведению.

Тогда она поехала туда сама.

Санитарная служба Одиннадцатого округа помещалась в бывшем детском саду: низкие подоконники, на стене под краской проступал контур не то жирафа, не то лошади. Рут прождала в коридоре два часа, с папкой на коленях, и её приняли в порядке живой очереди, после женщины, жаловавшейся на крыс.

Инспектора звали Ирвен Даль. Ему было лет сорок пять, он был гладко выбрит, и на столе у него лежали три стопки бумаг, выровненные по краю.

Он читал её выкладки восемь минут — молча, не поднимая головы, водя пальцем по строкам. Рут видела, что он читает по-настоящему.

— Что вы хотите, — сказал он наконец. Без вопросительной интонации.

— Закрыть водозабор в третьем и четвёртом квартале. На месяц. Водить привозную.

— На каком основании?

— На основании расчёта.

— Расчёт — не основание. — Даль сложил её листы в ровную стопку и подвинул к ней. — Основание — заключение лаборатории. Лаборатория берёт пробу и делает анализ. Анализ сегодня покажет норму, потому что сегодня там норма: вы сами пишете, что сброс начнётся в мае.

— В мае будет поздно.

— В мае будет основание.

Он сказал это спокойно, без всякого нажима, как называют вес или температуру.

— Вы понимаете, что я вам говорю? — спросил он. — Я не говорю, что вы неправы. Я говорю, что вы правы без оснований, а это то же самое, что неправы.

— Для тех, кто умрёт, это не то же самое.

Даль посмотрел на неё внимательно, впервые за весь разговор.

— Мне двадцать шесть лет назад, — сказал он, — тоже было девятнадцать. Хотите, объясню, чем кончается работа по предчувствию? Тем, что через два года вы закрываете водозабор, где ничего не было, а в соседнем квартале в это время не хватает машин, потому что все машины ушли возить воду туда, где ничего не было. И умирают там. И у вас снова будет расчёт, из которого следует, что вы ни при чём.

Рут молчала.

— Я поставлю ваше обращение первым в очередь на плановую проверку, — сказал он. — Проверка в июле. Это всё, что делается по закону, и это единственное, что я вообще намерен делать.

Она встала и пошла к двери.

— Эйсен.

Она обернулась.

— Если вы правы, — сказал Ирвен Даль, — принесите мне в июле их фамилии. Не проценты. Фамилии. Тогда будет основание.

Через пять недель и два дня в Одиннадцатом округе заболели четыреста двенадцать человек. Умерли девятнадцать, из них четверо детей.

Рут помнила, где была, когда увидела сводку. Она стояла в коридоре общежития у автомата с плохим кофе, читала с экрана и чувствовала, как её медленно, изнутри, заливают не горе и не гнев, а нечто гораздо более опасное — правота.

Девятнадцать человек умерли не потому, что она ошиблась. Они умерли потому, что она оказалась права, а её не слышали.

Она поехала в округ в июне. Она везла список из девятнадцати фамилий, переписанный от руки.

Она не пошла в санитарную службу. Она прошла третий и четвёртый кварталы пешком, из конца в конец, и всё было обыкновенно: дети во дворах, бельё, очередь у пункта выдачи. На углу стоял тот самый киоск, продажи которого просели на девять процентов, и в нём стояла вода — уже привозная, уже бесплатная, по талонам, потому что теперь основания появились.

Она простояла напротив этого киоска минут двадцать.

Потом всё-таки дошла до бывшего детского сада. Даля на месте не было: его перевели, ей не сказали куда. Женщина в регистратуре спросила, что передать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.